

The background of the book cover is a black and white photograph of a window. The window is divided into several panes. Outside the window, there is a view of trees and a building. In the foreground, at the bottom of the image, there are several open books on a desk, some of which are slightly out of focus.

**Н. Я. Эйдельман**

---

---

**«СКАЗАТЬ ВСЁ...»**

---

---

**ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ  
ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ,  
КУЛЬТУРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ  
XVIII-XХ ВЕКОВ**

Натан Эйдельман

**«Сказать все...»: избранные  
статьи по русской  
истории, культуре и  
литературе XVIII–XX веков**

«НЛО»

**Эйдельман Н. Я.**

«Сказать все...»: избранные статьи по русской истории, культуре и литературе XVIII–XX веков / Н. Я. Эйдельман — «НЛО»,

ISBN 978-5-44-481617-2

Натан Яковлевич Эйдельман (1930–1989) – ведущий исследователь отечественной истории и культуры, любимый многими поколениями читателей за неоценимый вклад в изучение и популяризацию истории XVIII–XIX веков. В эту книгу вошли работы автора, посвященные как эволюции взглядов его главных героев – Пушкина, Карамзина, Герцена, так и формированию мировоззрений их антагонистов. Одним из самых увлекательных повествований в книге оказывается история ренегата – «либерала-крикуна» Леонтия Дубельта, вначале близкого к декабристам, а затем ставшего одним из самых ревностных охранителей николаевского режима. Книга завершается пророческим анализом истории российских реформ, начиная с эпохи Петра I и заканчивая перестройкой. «Революция сверху в России», написанная в 1989 году, стала политическим и историософским завещанием Эйдельмана, который, предвидя свой скорый уход, торопился передать обществу, стоящему на пороге новых радикальных перемен, и свои надежды, и свои опасения по поводу его будущего.

ISBN 978-5-44-481617-2

© Эйдельман Н. Я.

© НЛО

## Содержание

КНИГА СУДЕБ, ИЛИ ИСТОРИЯ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	22
ДВЕ ТЕТРАДИ (ЗАМЕТКИ ПУШКИНИСТА)	22
1. А в ненастные дни...	24
2. Два примечания	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

# Н. Я. Эйдельман

## «Сказать все...» Избранные статьи по русской истории, культуре и литературе XVIII—XX веков

### КНИГА СУДЕБ, ИЛИ ИСТОРИЯ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

*Однажды я сопровождал в Стокгольм Анри Пиренна. Едва мы прибыли в город, он сказал: «Что мы посмотрим в первую очередь? Здесь, кажется, выстроено новое здание ратуши? Начнем с него». Затем, как бы предупреждая мое удивление, добавил: «Будь я антикваром, я смотрел бы только старину. Но я историк. Поэтому я люблю жизнь». Способность к восприятию живого – поистине главное качество историка.*

*Марк Блок. Апология истории*

Эти два имени – Марк Блок и Анри Пиренн – возникли здесь не случайно. Натан Яковлевич Эйдельман уверенно одобрил бы их присутствие, их соседство с его именем.

Марк Блок, «Апологию истории» которого Эйдельман знал и высоко ценил, ветеран двух мировых войн, герой французского Сопротивления, погибший в гестапо, остро ощущал единство прошлого и настоящего. Настолько остро, что не мог уклониться от вызова истории. Хотя имел такую возможность.

В той главе, в которой речь идет о Пиренне, названной «Понять прошедшее с помощью настоящего», он писал: «Незнание прошлого неизбежно приводит к непониманию настоящего. Но, пожалуй, столь же тщетны попытки понять прошлое, если не представляешь настоящего»<sup>1</sup>.

Он жил в едином историческом пространстве. Свойство, в высшей степени присущее Эйдельману.

Анри Пиренн, крупнейший бельгийский историк, в главных своих трудах – «Магомет и Карл Великий» и в «Истории Бельгии», два тома которой, посвященные Нидерландской революции, были изданы на русском языке в 1937 году, являют тот тип историографии, который, как мы увидим, был близок Эйдельману, – это история людей, а не событий и явлений.

Эйдельман менее всего был «антикваром», как и Марк Блок, он естественно существовал в живом историческом потоке, вступая в человеческие отношения с персонажами своего обширного исследования, воспринимая их скорее как собеседников, чем как объект научного анатомирования.

Некогда, в небольшом эссе, посвященном Эйдельману, я писал: «Есть два типа историков. Одни говорят об истории. Другие говорят с историей. Это не качественная оценка. Это – констатация. Эйдельман говорил с историей так же расположено, открыто и бурно, как разговаривал с друзьями. Он был исследователь-собеседник. Из тех, кто разговаривает с богами, а не только вопрошает. Методологические принципы историка зависят в не меньшей степени от его человеческой природы, чем от научной школы. <...> Принцип „собеседничества“ в осознании истории – это живое взаимодействие сознаний: сближение, отталкивание,

---

<sup>1</sup> Блок М. Апология истории. М., 1973. С. 27.

как угодно, но – живое, с ощущением союзника ли, оппонента ли как собеседника, а не как предмета дружелюбной или враждебной научной вивисекции»<sup>2</sup>.

Особенность предлагаемой читателю книги в том, что она в значительной части состоит из работ, опубликованных в разное время в периодике, и отличается от монографических изданий Эйдельмана естественным разнообразием сюжетов.

Исключение составляет последняя большая работа – «Революция сверху в России», вышедшая в год смерти своего автора отдельным изданием.

Книга включает три раздела.

Первый – пять статей о Пушкине. Второй, под условным названием «19-й век». И третий – «История и современность» – «Революция сверху в России».

При кажущемся разнообразии тем книга, как мы увидим, являет собой единую систему, скрепленную пересечением судеб, переключкой идей, методом исследования материала.

Метод декларирован первой статьей – «Две тетради. Заметки пушкиниста». Это единственная статья в книге, которую с достаточным основанием можно назвать литературоведческой. Здесь Эйдельман победительно демонстрирует свое искусство выявления смысла разорванных текстов – черновики, путем установления трудноуловимых связей, путем сопоставления отрывков, казалось бы, исключаящих родство между собой. Он демонстрирует искусство сопоставления вариантов, не желающих, на первый взгляд, складываться в органичную картину. Он демонстрирует уникальное умение охватить взглядом пространство, заполнить его разнородными набросками, и превращать его в историческое полотно. Это пространство – две «болдинские тетради» 1833 года, которым были присвоены архивные номера 2373 и 2374.

Эйдельман берется за дело безнадежное. «...Стоит ли говорить, как изучены, тысячекратно прочитаны болдинские тетради... И все же мы приглашаем... Приглашаем всего к нескольким листам, к нескольким мелочам».

Разумеется, эти «мелочи» плотно встроены в общий болдинский контекст.

И далее: «То, что принято называть „психологией творчества“, большей частью неуловимо, непостижимо, но иногда вдруг, следуя за частностью, подробностью, попадаем в такие глубины, откуда дай бог выбраться, где *„мысль изреченная есть ложь...“*».

И в результате из анализа этих «мелочей» возникает грандиозная картина не просто мощных замыслов, но судьбы России, а затем и горький абрис собственной судьбы Пушкина.

«Начав с частных, черновики, датировок и тому подобного, мы, кажется, коснулись вещей важнейших: пугачевская война и крестьянские, холерные бунты начала 1830-х годов; страшный крах той цивилизации, где была молода старая графиня, и загадка нынешнего мира, которым пытается овладеть Германн. <...> Космические вихри вьются над тетрадью 2373 и ее несохранившимися страницами, где скорее всего находились все черновики „Пиковой дамы“, трагические мотивы для поэта, может, самые мучительные, и в соседней, 2374-й».

Уже мелькнул среди этих «космических вихрей» один из важнейших сквозных героев книги – Карамзин, и встал в полный рост другой не менее важный для всей творческой работы Эйдельмана (хотя монографического исследования о нем и нет) – император Петр Великий.

Вторая часть статьи – история драматических отношений двух гениев – Пушкина и Мицкевича. Верный избранному приему, Эйдельман отталкивается от двух примечаний к «Медному всаднику» – на первый взгляд вполне частных.

«О том, что отношения двух гениев, русского и польского, были важнейшим событием в предыстории „Медного всадника“, известно давно, написано немало... Но и сегодня, начав размышлять над несколькими строчками примечаний, можно, кажется, приблизиться к *„предметам сокровенным...“*».

---

<sup>2</sup> Гордин Я. В сторону Стикса. Большой некролог. М., 2005. С. 79.

Что же для Эйдельмана видится «предметами сокровенными»?

То, что образует грозное единство личной судьбы и безжалостного потока истории. «История не щадит человеческой личности и даже не замечает ее», – печально констатировал Бердяев в «Самопознании», философской автобиографии. Безжалостность истории была внятна и Пушкину, и Эйдельману. Но для них история не была неким абстрактным процессом. Она была для них ярко персонифицирована. Эйдельман говорит о «Полтаве», что «в этой поэме личное, частное уже раздавлено, перемолото историческими жерновами». Однако жернова эти приводит в движение исключительно человеческая воля, и любимая пушкинская формула – «сила вещей» – для них отнюдь не безлика.

В глубокой и подробной статье «Несколько слов об Эйдельмане-пушкинисте» его друг и соратник В. Э. Вацуро писал: «Личное начало окрашивало все его устные и печатные выступления, и у слушателей и читателей иной раз возникало ощущение, что перед ними современник событий. В этом заключалась, между прочим, одна из причин общественного резонанса работ Эйдельмана: социально-экономический и политический анализ событий предстал в его изложении не как абстракция, а как обобщение живого исторического быта, индивидуальных судеб и психологии»<sup>3</sup>.

Вторая часть статьи «Две тетради» – неотразимый пример этого органичного единства «социально-экономического и политического» пласта исторического процесса и индивидуальных судеб, суммы человеческих поступков, многообразия мотиваций.

Рассматривая трагическое развитие отношений Пушкина и Мицкевича – дружбы, перешедшей в горькое историософское и политическое противостояние, Эйдельман изначально включает его в жесткий событийный ряд. Он говорит о двух поэмах – творческом оформлении этого противостояния – «Олешкевиче» Мицкевича и «Медном всаднике»: «Пять лет всего разделяет две поэмы, но какие это годы! Посредине этого периода – 1830–1831: революции и восстания во Франции, Бельгии, Италии, Польше, нашествие холеры, бунты в Петербурге и военных поселениях...

Страшные, кровавые, горячие года: все это порождает новые пушкинские мысли, новое ощущение истории...»

И вот тогда открывается грандиозный масштаб происходящего между двумя гениями, представляющими два народа, связанные единой мучительной судьбой. Человеческий аспект событий оказывается неразделимым с аспектом «социально-экономическим и политическим».

Полтора десятка страниц, рассказывающие о противостоянии Пушкина и Мицкевича, по событийной и психологической плотности равны романному полотну. Причем событийность эта, как и психологическая напряженность, вырастает из точного анализа конкретных текстов, отдельных строк, россыпи разнокалиберных фактов, соотнесенных с контекстом не только момента, но бурной эпохи более чем столетней протяженности – с «революции Петра» начиная.

И результат этого противостояния – две великие поэмы... В дружеском разговоре 1834 года Пушкин сказал Сперанскому: «Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого царствования как Гении Зла и Блага»<sup>4</sup>.

В противоположных концах предлагаемой книги стоят две глубоко символические для судьбы России фигуры – Пушкин и Петр.

Это, разумеется, случай куда более сложный, чем в приведенной пушкинской максиме. И тем не менее над этим обрамлением стоит задуматься.

Две следующие статьи «Снова тучи... Пушкин и самодержавие в 1828 году» и «Пушкин и его друзья под тайным надзором» содержат сюжеты пересекающиеся. И там, и там речь идет

---

<sup>3</sup> Эйдельман Н. Статьи о Пушкине. Предисловие В. Вацуро. М., 2000. С. 13.

<sup>4</sup> Пушкин А. С. Полное собр. соч. в десяти томах. Т. 8. М.; Л., 1949. С. 42.

о двусмысленном и опасном положении Пушкина несмотря на ясно выраженное благоволение к нему молодого императора после знаменитой встречи в Москве 8 сентября 1826 года.

И дело не столько в новых наблюдениях и новых материалах, дополняющих известную работу Б. Л. Модзалевского «Пушкин под тайным надзором».

Тут стоит снова обратиться к точным соображениям В. Э. Вацура из цитированной уже статьи: «Историческая и психологическая мотивация поведения – эта проблема всегда была в поле зрения Эйдельмана-историка. Исследование ее – стержневое начало его лучших книг»<sup>5</sup>. Добавим: и отдельных работ.

В этих двух статьях, трактующих, по сути дела, одну проблему, несколько действующих лиц. Но центральные фигуры – Пушкин, что естественно, и Николай I, хотя он появляется эпизодически. Казалось бы, главные «действователи», с которыми реально сталкивается Пушкин, – Бенкендорф и Булгарин. Однако атмосфера, в которой два вышеназванных персонажа действуют так, а не иначе, определена Николаем и особенностями его личности.

У Эйдельмана есть большая работа «Секретная аудиенция», посвященная знаменитому свиданию Пушкина и Николая.

В. Э. Вацура писал: «Он (Эйдельман. – Я. Г.) начинает изучать психологию личности Николая. Ему важно понять мотивы его поведения, ибо без этого непонятны ни дошедшие до нас отрывочные реплики участников диалога, ни самый рисунок поведения Пушкина»<sup>6</sup>.

Между тем именно рисунок поведения Пушкина после рокового свидания 8 сентября 1826 года, с которого и начался путь Пушкина к трагедии и гибели 1830-х годов, ставит перед исследователями сложнейшие задачи, процесс решения которых требует искусства анализа исторического и психологического.

Эйдельман владел этим искусством в высшей степени. И две названные статьи, несмотря на скромные размеры, существенно дополняют его более фундаментальные исследования чрезвычайно многоаспектного сюжета – оторванный шестилетней ссылкой от активного политического быта Пушкин в принципиально изменившемся мире николаевской России.

В статье «Снова тучи... Пушкин и самодержавие в 1828 году» Эйдельман пишет: «Автору уже не раз приходилось высказываться о том, что сам поэт, с его широчайшим взглядом на сцепление вещей и обстоятельств, не видел тут никакого противоречия; что оба полюса – „сила вещей“ правительства и „дум высокое стремление“ осужденных – составляли сложнейшее диалектическое единство в системе его политического и нравственного мышления. <...>

Разумеется, сохранение этого единства нелегко давалось самому поэту; понимание его позиции было труднейшей задачей для старых друзей-декабристов и – совершенно невозможной для подозрительной власти».

Безусловная заслуга Эйдельмана в том, что он ввел плодотворное понятие диалектичности пушкинского мышления. Для него, с его обостренным вниманием к нравственному содержанию исторического процесса, реализованного через сумму человеческих поступков, диалектичность пушкинского подхода к своему взаимоотношению с государством отнюдь не нравственный релятивизм. Это удивительная способность Пушкина, его аналитического ума, сопряженного с даром художественного проникновения в самые загадочные области человеческих отношений – в политике в том числе, – находить органику в противоречивости явлений.

Понимание этой пушкинской способности дает возможность Эйдельману показать сложный рисунок отношений Пушкина и Карамзина.

Название статьи «Сказать все...» восходит к любимому Пушкиным парадоксу итальянского публициста аббата Гальяни (1774): «...Что такое высшее ораторское искусство? Это

---

<sup>5</sup> Эйдельман Н. Статьи о Пушкине. С. 19.

<sup>6</sup> Там же.

искусство сказать все – и не попасть в Бастилию в стране, где не разрешается говорить ничего». Любопытно, что этот парадокс Гальяни Эйдельман занес в дневник.

Воззрения самого Карамзина на положение писателя-гражданина тоже были не лишены парадоксальности,

В 1797 году уже усвоен страшный урок якобинского террора и Карамзин вряд ли готов приветствовать революцию – он пишет:

*Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,  
Достоин ли пера его?  
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,  
Кроме убийц и жертв не вижу ничего.  
Жалеть о нем не должно:  
Он стоил лютых бед несчастья своего,  
Терпя, чего терпеть без подлости не можно!*

Это явный призыв к сопротивлению. Но удивительна максима, произнесенная Карамзиным в 1819 году: «Честному человеку не должно подвергать себя виселице».

Эйдельман ищет объяснения этому противоречию. «Как известно, смысл этой фразы не в том, что порядочному человеку должно избегать опасностей, беречь себя и т. п. Карамзин хотел сказать (речь шла, разумеется, не о тиранических режимах, но сколько-нибудь просвещенных), что если честного человека тащат к виселице, значит, он не использовал законных, естественных форм сопротивления, изменил самому себе».

Но максима Карамзина произнесена в контексте, который не содержит оговорок. Она категорична. И Эйдельман в книге «Последний летописец» комментирует эту максиму несколько по-иному: «Слова Карамзина в 1819 году: „Честному человеку не должно подвергать себя виселице“. Карамзин в 1819-м (то есть в разгар споров о его восьми томах) очевидно хотел по-другому сказать уже прежде им сказанное, что „всякие насильственные потрясения губительны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот, в то время как для честного человека возможны другие пути...“»<sup>7</sup>

Снова надо вспомнить точное наблюдение В. Э. Вацура о «личном начале» в исследовательской работе Эйдельмана, которая давала читателям и слушателям возможность воспринимать Эйдельмана как современника его героев. Но это интенсивное «личное начало» определяло и другой важнейший аспект его существования в историческом потоке. Он с не меньшей остротой ставил перед собой те же проблемы, которые стояли перед его героями.

Судя по его дневникам, Эйдельман мучился двойственностью своего положения – неприятием советской реальности и неготовностью к радикальному действию. Речь шла, естественно, не о вооруженной борьбе, но о прямых высказываниях во время выступлений.

Его постоянно волновал исторический выбор между насилием и ненасилием при явной необходимости воздействия на окружающую реальность.

Он упрекал – я тому свидетель – своего друга, одного из лучших русских исторических романистов, Юрия Владимировича Давыдова в игнорировании «толстовского фактора» при художественном анализе народнической и народофильской эпохи.

Толстой отсутствует среди сквозных персонажей нашей книги, но его гигантская тень ложится на ее страницы. Это неудивительно – Толстой живет в дневниках Эйдельмана с 1950-х годов и ссылки на его опыт там постоянные. И это многое объясняет в его подходах к истории. В мировидении Эйдельмана была фундаментальная черта, роднившая его с яснополянским пророком. Он, как и Толстой, был убежден в необходимости следовать естественному ходу

---

<sup>7</sup> Эйдельман Н. Последний летописец. М., 1983. С. 112.

истории, в губительности неорганичного вмешательства в этот процесс. Притом что далеко не все – даже самые радикальные – попытки этого вмешательства представлялись ему неорганичными. Например, попытка 14 декабря, скорее всего, мыслилась ему более органичной, чем николаевские заморозки. Но тут возникало мучительное противоречие. Эйдельман предлагал – как результат честных исследований – максимально объективную для него картину прошлого и объяснял закономерность того, что произошло. Но при этом он как гуманист, постоянно обремененный обостренным чувством справедливости, не мог внутренне примириться с неоправданной жестокостью и неразумностью процесса. И он постоянно искал возможность сочетания «силы вещей», исторической неизбежности, и своего представления о том, как должно, как справедливо.

После вторичного прочтения «Иосифа и его братьев» Т. Манна он записывает в дневник: «...Лучшее – Иосифа везут купцы и учат, что время даст всему вызреть само»<sup>8</sup>.

Но какова роль человека в этой работе роковых жерновов?

И большая работа о Пушкине и Карамзине «Сказать все...» – это напряженная попытка остаться равным пушкинской диалектике на примере восприятия Пушкиным титанического труда историографа. Пушкину могут быть не близки смыслообразующие постулаты Карамзина, но это – «подвиг честного человека».

При этом читателю предлагается многообразная картина далеко не всегда идиллических, но глубоко достойных отношений этих двоих людей, каждый из которых являет собой эпоху. И стержень сюжета – упорное стремление Пушкина осознать и выявить роль Карамзина в своей собственной судьбе и судьбе России.

Завершает раздел, посвященный Пушкину, обзор разноплановых обстоятельств, сделавших неизбежной гибель поэта. Менее всего Эйдельман касается личных, семейных причин смертоносного конфликта. И это совершенно правильно. В иной ситуации у Пушкина хватило бы сил справиться с этой составляющей драмы.

И завершается статья «Уход» точной фразой, при всей лапидарности во многом объясняющей стилистику поведения Пушкина в последние месяцы его жизни: «Можно сказать, что ранняя гибель Пушкина стала последним его творением, эпилогом, вдруг ярко, резко озарившим все прежде».

Сквозь всю книгу проходят несколько персонажей – те, что прошли и сквозь всю жизнь Эйдельмана. Это Пушкин, Карамзин и Герцен. Имя Петра, который будет главным героем последней части – «Революция сверху в России», – уже упоминалось.

Все находятся в сложной и глубоко осмысленной связи между собой. Они возникают в разных точках общего сюжета книги – вне зависимости от того, является тот или иной из них центральным персонажем статьи. Их судьбы, их идеи, их взаимоотношения делают книгу цельным историческим пространством.

Первая статья второй части называется «О Герцене. Заметки». Этот жанр, которым Эйдельман владел в совершенстве, не исчерпывается данной статьей. «Две тетради», которыми открывается книга, тоже названы «Заметки пушкиниста». И чрезвычайно важна для автора статья «Сказать все...» – это тоже фактически заметки, объединенные не столько внешним сюжетом, сколько смысловой задачей.

Жанр заметок дает возможность свободного обращения с материалом и предполагает в случае надобности введение автобиографического элемента. Быть может, не столько фактологического, сколько идеологического.

В книге «Былое и думы» Герцена Л. К. Чуковская писала: «Единство частного и общего, личного и общественного – характернейшая особенность герценовского сознания. Для Герцена пожар Москвы, или казнь декабристов, или восстание в Варшаве – это вехи его собствен-

---

<sup>8</sup> Эйдельман Ю. Дневник Натана Эйдельмана. М., 2003. С. 138.

ной жизни, главы из его „логического романа“. <...> Историческое событие Герцен проводит сквозь собственную душу. Автор ведет речь о разгроме декабристского восстания – о событиях исторической важности – и в то же время о себе самом»<sup>9</sup>.

А вот что пишет Эйдельман в кратком вступлении к «Заметкам»: «Герцен мне помог в жизни не меньше, чем самые близкие друзья. Занимался и занимаюсь им по любви».

Как уже говорилось, принцип общения со своими персонажами у Эйдельмана можно определить как собеседничество. Как сказала о нем М. О. Чудакова: «Сломал для себя грань между объективным и субъективным»<sup>10</sup>.

А в предисловии к монументальному тому работ Эйдельмана о Герцене, вышедшем, увы, через 10 лет после его кончины, составитель и научный редактор тома Е. Л. Рудницкая писала о «присущем ему остром ощущении слитности прошлого и настоящего в его личностном преломлении. Именно это начало пронизывает все работы Эйдельмана, связанные прежде всего с именем Герцена. В них нашло свое выражение присущее Эйдельману и роднящее его с Герценом жизнеощущение, тонко подмеченное Б. Ш. Окуджавой: „переливавшееся через край пристрастие к нашему прошедшему и, значит, к нашему грядущему“»<sup>11</sup>.

И тут мы можем вспомнить не безусловное, но имеющее смысл сопоставление Сперанского и Аракчеева с Пушкиным и Петром.

Разумеется, Пушкин и Эйдельман не считали Петра «Гением Зла». Но истинное, диалектическое отношение Пушкина к Петру Эйдельман угадывал.

У него была одна характерная особенность, которую вряд ли следует считать сознательно культивируемым приемом, – он являл читателю собственные главные идеи через своих любимых персонажей.

И Герцен был, безусловно, одним из таких рупоров.

А одной из главных идей была, как уже говорилось, идея органичной постепенности, к которой в конце концов пришел Герцен.

Есть все основания предположить, что, «сломав для себя грань между субъективным и объективным», Эйдельман в высокой степени отождествлял себя с Герценом. Здесь нет ничего аномального. Речь идет о предельной родственности мировидения и восприятия себя в мире.

Именно через Герцена – задолго до «Революции сверху» – Эйдельман определял свое отношение к Петру, сложно сопоставимое с отношением Пушкина к первому императору.

Эйдельман сходил с Пушкиным в понимании фундаментальных факторов, определяющих позиции «честного человека», которому не следует «подвергать себя виселице», в отношении государства. Это – максимальное охранение личного достоинства и неприятие костоломных перемен.

Известно, как высоко ценил Пушкин человеческое достоинство, частную независимость. «Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности <...> невозможно: каторга не в пример лучше»<sup>12</sup>.

Именно воспитание человека чести, человека с абсолютным чувством собственного достоинства считал Пушкин спасением для России.

Это вполне совпадает с убеждением Толстого. Смертельно оскорбленный обыском, который жандармы провели в его отсутствие в Ясной Поляне, он писал своей тетушке фрейлине Александре Андреевне Толстой: «Какой-то из ваших друзей, грязный полковник, перечитал все мои письма и дневники...

---

<sup>9</sup> Чуковская Л. «Былое и думы» Герцена. М., 1966. С. 23, 25.

<sup>10</sup> Чудакова М. Натан Эйдельман, историк России // Знание – сила. 1990. Декабрь. С. 26.

<sup>11</sup> Эйдельман Н. Свободное слово Герцена. М., 1999. С. 5.

<sup>12</sup> Письма А. С. Пушкина к жене. СПб., 2019. С. 77.

Счастье мое и этого вашего друга, что меня тут не было, – я бы его убил!»<sup>13</sup>

По накалу ярости эта филиппика вполне соответствует пушкинскому письму жене от 3 июня 1834 года по поводу перлюстрации его переписки с ней: «Мысль, что кто-нибудь нас подслушивает, приводит меня в бешенство...»<sup>14</sup>

В программной брошюре, изданной в Берлине в 1905 году, Толстой подвел итог своих размышлений на эту тему: «...Русское правительство, как всякое правительство, есть ужасный, бесчеловечный и могущественный разбойник...» И спасение мира исключительно в отдельном частном человеке, ориентированном на нравственный идеал: «...Закон Бога, не требующий от нас исправления существующего правительства, или установления такого общественного устройства, которое по нашим ограниченным взглядам обеспечивает общее благо, а требующий от нас только одного: нравственного самосовершенствования, то есть освобождения себя от всех тех слабостей и пороков, которые делают нас рабами правительств и участниками их преступлений»<sup>15</sup>. «Самостоянье человека» – по Пушкину.

В модифицированном, разумеется, виде эти близкие Эйдельману идеи он видит в текстах Герцена.

В заметках о Герцене он пользуется нехарактерным для него, но наиболее эффективным в данном случае методом – ключевые по смыслу выписки со скупыми комментариями. Это создает «смысловое сгущение».

В принципиальной по значимости главке «Кровь и после...» он предлагает нам – фактически – их общий с Герценом взгляд на участие человека в историческом процессе.

«Около 1860 года, – пишет Эйдельман, – Герцен находит, что кровавая революция – средство самое крайнее, опасное и нежелательное. По сочинениям его можно составить на эту тему целую энциклопедий о мрачных эпилогах великих потрясений».

Любопытно, что в 1861 году Толстой в письме к Герцену, с которым познакомился и подружился, будучи в Европе, упрекает Герцена в излишнем радикализме, хотя и говорит, что его, Толстого, понимание России схоже с пониманием Рылеева в 1825 году.

Далее следуют тексты Герцена.

«...Мы не верим, что народы не могут идти вперед, иначе как по колена в крови; мы преклоняемся с благоговением перед мучениками, но от всего сердца желаем, чтоб их не было».

«Я нисколько не боюсь слова „постепенность“, опошленного шаткостью и неверным шагом разных реформирующих властей. Постепенность так, как и непрерывность, неотъемлема всякому процессу разумения».

«Неужели цивилизация кнутом, освобождение гильотиной составляет вечную необходимость всякого шага вперед?»

Упоминание кнута как главного средства благодетельных перемен естественным образом приводит нас к пушкинской формуле о петровских указах, которые «писаны кнутом».

И в следующем абзаце у Эйдельмана появляется первый император.

«Сопоставляя разные формы социальных и политических переворотов, Герцен часто прибегает к „естественно-физиологическим“ сравнениям. Петр I, Конвент шагают „из первого месяца беременности в девятый“».

Петра Герцен ставит рядом со свирепым французским Конвентом, приближавшим народное счастье с помощью гильотины. Герцену, как и Эйдельману, было внятно предложенное Пушкиным определение – «революция Петра».

Разумеется, хорошо помнил Эйдельман и классическую строку Волошина: «Великий Петр был первый большевик...»

---

<sup>13</sup> Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М., 1949. Т. 60. С. 428.

<sup>14</sup> Письма А. С. Пушкина к жене. С. 77.

<sup>15</sup> Толстой Л. Н. Об общественном движении в России. Берлин, 1905. С. 20.

Эйдельман пишет: «Необходимость хирурга не отрицается, однако роль акушера кажется более естественной, основной.

Вот отрывки из знаменитого сопоставления „хирурга Бабефа“ (французского революционера, утопического коммуниста) и „акушера Оуэна“ (английского утописта, поборника мирных методов).

Процитировав (правда, несколько „сгущенно“, иронически) проект будущего социалистического устройства общества, составленный 1796 году Гракхом Бабефом, Герцен обращает внимание на строгую правительственную регламентацию, при помощи которой Бабеф собирался достигать общественного блага».

Далее Герцен: «Декреты, как и следует ожидать, начинаются **с декрета полиции**».

Для Эйдельмана это имело особый смысл, поскольку он прекрасно знал «Русскую правду» – конституцию Пестеля, по которой общественное благо достигалось строжайшей политической дисциплиной, охраняемой всемогущей секретной службой.

Перечисляя отдельные пункты программы, Герцен выделяет курсивом грозные карательные меры, причитавшиеся за неисполнение гражданами их обязанностей. Заняв около двух печатных страниц этими выдержками, Герцен заканчивает: «За этим так и ждешь „Питер в Царском Селе“, – а подписано не Петр I, а первый социалист французский Гракх Бабеф».

Для Петра понятий человеческого достоинства, как и «постепенности», не существовало. «Все <...> были равны перед его дубинкой», – писал Пушкин.

Петр, прогневавшись, избил палкой уважаемого во Франции одного из первых архитекторов Петербурга, Леблона, отчего тот, по вполне правдоподобной версии, и умер, не пережив унижения. «Птенцы гнезда Петрова» постоянные побои переживали без особых психологических страданий.

И в этой связи несомненно важно известное Эйдельману постепенное изменение в восприятии личности и деяний Петра как Пушкиным, так и Толстым – неуклонное нарастание негативных суждений. Достаточно внимательно прочитать пушкинскую «Историю Петра». Сам он говорил, что ее невозможно будет опубликовать. Николай, просмотрев после смерти Пушкина рукопись, это подтвердил. Он нашел, что в ней много «неприличных выражений», касающихся императора.

Толстой начал, судя по дневникам Софьи Андреевны, с понимания и приятия петровских методов, но, изучив материал подробно и, главное, ясно определив свое отношение к политике как практике воздействия на реальность, закончил убийственной формулой: «Беснующийся пьяный <...> зверь четверть столетия губит людей».

Разумеется, Эйдельман – вслед за Герценом – не был так радикален в оценке «революции Петра» и его личности. Он старался быть верным пушкинской диалектичности. Но тщательно и продуманно отобранные выписки из Герцена говорят о многом. И противопоставление Пушкина и Петра как персонажей – явлений, между которыми, собственно, и лежит смысловое пространство книги, в текстах Герцена получает если не полное подтверждение, то по крайней мере – оправдание.

Эта проблематика развернута у Эйдельмана в «Революции сверху». И мы до нее еще дойдем.

Для Пушкина, Толстого, Герцена и Эйдельмана человек был не объектом, а субъектом исторического процесса и одновременно его единственным двигателем.

Поэтому так внимательно рассматривает Эйдельман особенности мотиваций и психологических трансформаций своих героев. В каждом из них живет концентрированная эпоха, и каждый из них в той или иной степени отвечает за особенности эпохи.

Эйдельмана чрезвычайно интересовало, как человек взаимодействует с временем. Он пристально всматривается в судьбы своих героев, наблюдая, что происходит с ними при смене эпох. Доброжелательный даже к тем, кто этого, казалось бы, не заслуживает, он старается

понять побудительные мотивы и тех, кто остается равен себе при всех обстоятельствах, как, например, сенатор Иван Владимирович Лопухин, дослужившийся до тайного советника. Чем он мог заслужить внимание Эйдельмана?

Важнейшие мемуары Лопухина опубликовал Герцен. И с истории издательской деятельности Герцена начинается очерк о Лопухине. Куда ж без Герцена?

Но дело не только в этой убедительнейшей для Эйдельмана рекомендации. Лопухин – образец человека, не изменявшего себе и своим гуманистическим принципам в «свой жестокий век», масон. Он представляет ту среду, из которой вышел Карамзин, – круг Новикова, масонов-мистиков и просветителей. Судьбы пересекаются. Для Эйдельмана это принципиально важно. От Лопухина к Карамзину. От Карамзина к Пушкину. И всех объединяет Герцен.

Великая человеческая общность явлена на страницах книги.

После яркого жизнеописания Лопухина, представляющего столь значимый для Эйдельмана XVIII век, очерк закономерно завершается возвращением к Герцену.

«Дело в том, – пишет Эйдельман, – что как Дашкова, как и Щербатов, Иван Владимирович – яркая самобытная, внутренне цельная личность». И цитирует Герцена: «Его странно видеть среди хаоса, случайных, бесцельных существований его окружающих; он идет куда-то – а возле, рядом целые поколения живут ощупью, впросонках, составленные из согласных букв, ждущих звука, который определит их смысл».

В общей системе – не этой отдельной книги, а во всем пространстве творческой работы Эйдельмана – такие персонажи, как Лопухин, Карамзин, играют роль эталонных фигур, на фоне бытия которых он рассматривает судьбы более драматичные и подвижные. Причем это очень разные люди. Но в том-то и заключается смысл их изучения.

Эйдельмана живо интересует и эволюция Фаддея Булгарина, приятеля Рылеева и друга Грибоедова, его движение от одаренного журналиста с бурной военной биографией, из околосексантилетнего круга, к откровенному доносительству и радостной сервильности.

Эйдельмана интересует путь арзамасца Блудова, умеренного, но явного либерала, в классические бюрократы николаевской эпохи.

Парадоксальному движению из «крикунов-либералов» в суровые охранители посвящен один из значительнейших материалов книги, скромно названный «После 14 декабря (из записной книжки писателя-архивиста)».

Начало очерка – увлекательная и поучительная история архивных поисков переписки весьма известного человека – Леонтия Васильевича Дубельта, важного для Эйдельмана еще и тем, что на нем пересеклись две сюжетные линии – Пушкин и Герцен. Дубельт, в некотором роде, соединяет две эпохи – он наблюдал за Пушкиным, он надзирает за Герценом. Оба были хорошо знакомы с Леонтием Васильевичем.

Но прежде всего – это классический образец «превращаемого», если пользоваться термином Тынянова.

В блистательном прологе к «Смерти Вазир-Мухтара» он писал: «Как страшна была жизнь *превращаемых*, жизнь тех из двадцатых годов, у которых перемещалась кровь!»

Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнули»<sup>16</sup>.

Известно, как относился Эйдельман к Тынянову. И, безусловно, он едва ли не наизусть знал эти две страницы, в которых спрессован огромный смысловой пласт.

Полковник Дубельт, в первой половине 1820-х один из «главных крикунов-либералов южной армии», по свидетельству Греча, был близок к Михаилу Орлову и князю Сергею Вол-

<sup>16</sup> Тынянов Ю. Смерть Вазир-Мухтара. Л., 1932. С. 9.

конскому. Ему симпатизировал весьма разборчивый Ермолов, знавший его со времен Наполеоновских войн.

Естественно, после 14 декабря и мятежа Черниговского полка, массовых арестов в армии он оказывается под подозрением.

В «Алфавите членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам, прикосновенным к делу...» Дубельт занимает свое место. – «Дубельт 1-й Леонтий Васильевич. Подполковник, командир Старооскольского пехотного полка.

В сведении, полученном в декабре от главнокомандующего 1-ю армиею, а ему представленном от генерала Ертеля в марте 1824 года, Дубельт был показан в числе членов масонской ложи, существовавшей в Киеве. После того отставной майор Унишевский в доносе своем показал, что еще в 1816 году заметил Дубельта принадлежащим к тайным сходбищам в Киеве и за сие открытие претерпевал от него разные гонения по нахождению его, Дубельта, дежурным штаб-офицером 4 пехотного корпуса. Как Унишевский, обещавший открыть и уличить всех сообщников Дубельта, будучи призван по Высочайшему повелению в Комиссию, отозвался, что он кроме уже показанного им, более ничего присовокупить не может, то Комиссия оставила сие без внимания»<sup>17</sup>.

То, что сведения о Дубельте пришли от генерала Эртеля, – закономерно. В это время генерал от инфантерии Ф. Ф. Эртель был военным генерал-полицимейстером 1-й армии и все доносы стекались к нему.

Когда Дубельт был дежурным штаб-офицером 4-го корпуса, Орлов был начальником штаба того же корпуса. То есть они постоянно сотрудничали по службе. Уже после 14 декабря, когда уцелевший, но опальный Орлов жил в Москве, а Дубельт был начальником штаба корпуса жандармов, у них случился вполне дружелюбный обмен письмами.

В этом нет ничего удивительного. Когда Бенкендорф после возвращения из заграничного похода, очарованный устройством наполеоновской жандармерии, вынашивал идеи создания такого же корпуса в России, то он приглашал в соратники своего друга князя Волконского. Князь Сергей Григорьевич пошел другим путем.

Эйдельман внимательно и подробно прослеживает путь Дубельта из «крикунов-либералов» в жандармы. Как происходило это превращение? Чего стоило оно «превращаемым»? История Дубельта была для Эйдельмана прекрасным испытательным полем.

Он приводит мотивацию своего героя – ответ полковника жене, которая уговаривала его: «Не будь жандармом!»

Дубельт, с юности воспитанный в среде отнюдь не охранительной, ответил супруге вполне в духе своей либеральной молодости: «Ежели я, вступая в корпус жандармов, сделаюсь доносчиком, наушником, тогда мое доброе имя будет, конечно, запятнано. Но ежели, напротив, я, не мешаясь в дела, относящиеся до внутренней полиции, буду опорой бедных, защитой несчастных; ежели я, действуя открыто, буду заставлять отдавать справедливость угнетенным, буду наблюдать, чтобы в местах судебных давали тяжёлым делам прямое и справедливое направление, – тогда чем назовешь ты меня?»

Эта благородная декларация, в которую полковник Дубельт несомненно верил, вполне соответствовала декларациям создателя корпуса жандармов Бенкендорфа, который и пригласил Дубельта в свою службу, как звал некогда Волконского.

Любопытно и не случайно эти теоретические декларации вполне соответствуют реальной практике героя соседнего очерка – сенатора Лопухина, который именно что был «опорой бедных, защитой несчастных» – за несколько десятилетий до того, на закате Века Просвещения.

Линии пересекаются, намерения, мечтания кажутся схожими, но жизненная практика оказывается иной. И это требует объяснения.

---

<sup>17</sup> Декабристы. Биографический справочник. М., 1988. С. 25.

Эйдельман показывает, как случай – «могучее орудие провидения», по Пушкину, – диктует ту или иную судьбу. «...Стоило судьбе чуть-чуть подать в сторону – и могла выпасть ссылка, опала или грустное затухание, как, например, у Михаила и Катерины Орловых, о которых Дубельты не забывают». Не только не забывают, а искренне сочувствуют их печальной участи.

Вместе воевали, вместе служили... Не так все просто.

«Мы отнюдь не собираемся, – пишет Эйдельман, – рисовать кающегося, раздираемого сомнениями жандарма». И тем не менее приводит удивительную по той самой диалектической глубине и изяществу характеристику, которую дал Дубельту наблюдавший его Герцен: «Дубельт – лицо оригинальное, он, наверное, умнее всего третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу, ясно свидетельствовали, что много страстей боролись в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или, лучше, накрыл все, что там было».

Эйдельман в переписке обнаруживает свидетельства, что иногда на Дубельта, уже генерала, находила тоска.

И Эйдельман относится к этому серьезно. «Противоречия будут преодолены, служба будет все успешнее, но грусть не уйдет... Эта грусть крупного жандарма 30–60-х годов XIX века – явление индивидуальное и социальное...» Вот что важно Эйдельману – социальное социальным, а каждый человек индивидуален.

Эйдельман так внимательно и, как ни странно это может прозвучать, не без некоторого сочувствия разбирается в «превращении» потенциального государственного преступника в успешного охранителя, потому что история Дубельта – выразительная модель для исследования процесса «превращения». Этого трагического процесса, когда в точке бифуркации, в момент рокового выбора решается судьба отдельного человека и судьба человеческой общности...

Историк Эйдельман – историк человеческих судеб, из которых складываются судьбы стран и народов. И общие закономерности он желает видеть исключительно через индивидуальные варианты.

И его тщательная, но осторожная анатомия личности и судьбы Дубельта необходима ему не в последнюю очередь при постоянных и нелегких размышлениях о судьбе Пушкина, его совершенно ином, конечно же, «превращении», его выборе, который привел в конечном счете к духовной победе и жизненной катастрофе.

В том же блистательном тыняновском прологе было сказано: «Благо было тем, кто псами лег в двадцатые годы, молодыми и гордыми псами со звонкими рыжими баками!»<sup>18</sup>

Два ведущих типа героев проходят сквозь всю творческую работу Эйдельмана и через нашу книгу, соответствующим образом составленную. Это высоко ценимые им цельные натуры – те самые «молодые, гордые псы», что полегли в 20-х годах (хотя физически они могли остаться в живых) и остались верны себе до конца – Лунин, Пущин, и те, кто погиб оттого, что остался верным себе, – Сергей Иванович Муравьев-Апостол, «Апостол Сергей». Это цельные натуры – масон Лопухин и бывший масон Карамзин, эти выходцы из XVIII века, ни в чем себе не изменившие.

Все они любимы Эйдельманом и во многом близки ему. Но, «сломавший для себя грань между субъективным и объективным», он видел в центре своего духовного мира две личности иного типа – человеческий тип «человека меняющегося». Это Пушкин и Герцен. Недаром Эйдельман утверждал, что серьезная духовная работа началась для него с Герцена.

И удивительным образом жестокая проблематика, связанная с этим внутренним движением от простого к диалектичному, реализовалась в одной из интереснейших, на мой взгляд,

---

<sup>18</sup> Тынянов Ю. Смерть Вазир-Мухтара. С. 9.

работ Эйдельмана – основательной статье «Вослед Радищеву», где судьбы Герцена и Пушкина, поиски органичного пути, пересеклись на судьбе Радищева.

Сюжет статьи многопланов. Это и набросок истории возникновения «Колокола» и вообще издательской деятельности Герцена и Огарева, и набросок биографии Радищева, и история создания «Путешествия из Петербурга в Москву», и анализ мотивов, двигавших и лондонскими пропагандистами и Радищевым. Но смысловое зерно сюжета – то, ради чего, осмелюсь утверждать, и была написана статья, – Пушкин, всматривающийся как в зеркало в судьбу Радищева и примеряющий на себя его трагический опыт.

Эйдельман, как говорилось, использовавший в качестве творческого приема самоотождествление с важнейшими для него персонажами, увидел нечто подобное в статье Пушкина «Радищев», написанной в гибельном для поэта 1836 году.

Приведя целый ряд убедительных параллелей, Эйдельман цитирует фрагмент пушкинского текста, где, по его мнению, «уж вообще невозможно разделить двух писателей».

«Не станем укорять Радищева в слабости и непостоянстве характера. Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом или с улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и молодавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыта для него не существует. Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время ужаса? Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды лвиным рыком колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра».

Эйдельман комментирует: «Здесь, конечно, полускрытая пушкинская исповедь – об эволюции собственных взглядов – для чего жизнь Радищева важнейший повод».

Эйдельман убедительно показывает, как Пушкин, незадолго до гибели, тоже «сломав для себя грань между субъективным и объективным», мучительно пытался «сказать все и не попасть в Бастилию». Сказать множество насущных для него и для русского общества вещей и не попасть под нож цензуры... В известном смысле статья о Радищеве была и завещанием Пушкина.

В ней он кропотливо нащупывал пути преодоления барьера, воздвигаемого властью между мыслителем и обществом.

С обсуждения той же проблематики, но советского периода, начинается фундаментальная работа Эйдельмана «Революция сверху в России», которую также можно считать завещанием историка, мыслителя, просветителя.

Из-за масштаба задачи, которую поставил перед собой Эйдельман, из-за обилия вовлеченного материала, из-за огромного количества конкретных рассмотренных ситуаций невозможно в рамках этого предисловия сколько-нибудь подробно анализировать эту работу. Потому мы остановимся на моментах наиболее актуальных.

Надо сказать, что и здесь мы встретим ключевые фигуры, на которых постоянно было сосредоточено внимание Эйдельмана, – Пушкин, Герцен, Толстой. Их мнение он демонстрирует при рассуждении о смысле и цене петровских реформ. Хотя, разумеется, галерея «экспертов» значительно расширена. Например, для оценки «революции Петра» теперь привлечен кроме Льва Николаевича Толстого – Алексей Николаевич Толстой с его сильным рассказом «День Петра», написанным в эмиграции в 1918 году: «Но все же случилось не то, чего хотел гордый Петр; Россия не вошла, нарядная и сильная, на пир великих держав. А подтянутая им за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде – рабою. И сколько бы ни гремели грозно русские пушки, повелось, что рабской и униженной была перед всем миром великая страна, раскинувшаяся от Вислы до Китайской стены».

На обширном пространстве «Революции сверху в России» особое внимание по понятным причинам уделено двум эпохам – петровской и эпохе Великих реформ.

С «революцией Петра» дело особое, потому что, как мы уже знаем, Эйдельман, «ломающая грань» между собственным мировосприятием и таковым же у Пушкина и Герцена, решал вопрос о своем отношении к Петру.

В «Революции сверху» он предлагает широкий спектр мнений, но нет окончательного и ясного ответа.

«Споры, споры... Все их разнообразие, наверное, легко свести к сравнительно простой формуле: как совместить два начала в том правителе, в том царствовании, той „революции сверху“. Начало прогрессивное, светлое, а рядом темное, зверское. Говорилось о величественном здании, которое воздвиг император, и о заложенной под это здание „огромной мины“ (экономическом, политическом рабстве), достаточно ли крепка постройка, чтобы не поддаваться взрыву, или угроза смертельна, неотразима?» История показала – да, смертельна, неотразима.

Не давая прямого и категорического ответа, верный диалектическому принципу, всем ходом своей мысли Эйдельман дает понять, что насильственный костоломный метод воздействия на реальность чреват тяжкими последствиями. И одна из главных причин неудач – пренебрежение человеческим достоинством. Не называя в этом случае Пушкина, Эйдельман фактически отсылает нас к пушкинским представлениям о должном.

В принципиальной главе «Страх или честь» он пишет: «Дубинка и честь в политике, морали примерно так же соотносились, как палочные и рыночные дела в экономике.

Причудливое сочетание, пересечение чести и страха, в разных дворянских поколениях – важнейший, интереснейший исторический феномен XVIII века.

Результатом, вероятно довольно неожиданным для самих самодержцев (и притом важнейшим российским историческим уроком!), становится отныне роль «мыслящего меньшинства», примерно одного процента страны, приобщенного к просвещению и чести, людей, которых назовут интеллигенцией.

После того в русской истории будет сделана не одна попытка обойтись без подобных людей, править «непосредственно», даже прямо от престола выйти к народу, вернее – к толпе, «черни», минуя эту интеллигенцию, ведь она самим фактом своего существования выглядела чем-то ограничивающим многовековое и страшное российское самодержавие».

Тут надо оговориться, что понятие дворянской чести в точном понимании этого слова возникло вопреки петровской практике и появилось только после манифеста о вольности дворянства 1762 года, когда дворянин был законодательно защищен от телесного наказания.

К сожалению, Эйдельман игнорировал попытку существенно реформировать политическую систему России двумя сильными группами – «верховниками» и шляхетской – дворянской – группировкой в 1730 году при возведении на престол Анны Иоанновны. Очевидно, он ориентировался на негативное отношение к этим событиям Пушкина. Но Пушкин не знал и не мог знать конституционных проектов князя Дмитрия Михайловича Голицына и «проект большинства», написанный Василием Никитичем Татищевым, идеологом шляхетства.

Огромная эрудиция позволила Эйдельману пройти путь от Петра до Ленина. Анализируя реформаторские попытки Александра I, он со свойственной ему осмотрительностью рассматривает причины провала этих попыток. С одной стороны, грозное сопротивление консервативного дворянства и бюрократического аппарата – притом что за последние полстолетия в России убито три законных императора, последний с молчаливого согласия самого Александра, с другой, то ли лицемерная, то ли искренняя жалоба: «Некем взять!» – притом что в 1815 году, любимый всеми сословиями, он мог опереться на популярных в армии молодых генералов, мечтавших о преобразованиях, и на молодое просвещенное офицерство, которое, разочаровавшись в императоре, пошло в тайные общества.

Эйдельман и здесь не выносит вердикта. В роковое время конца 1980-х годов – пик перестройки, канун радикальных реформ – он предлагает своему читателю самому оценить реальность реформаторских перспектив в разные моменты нашей истории.

Рассматривая ситуацию кануна Великих реформ 1860–1870-х годов, Эйдельман обращает внимание на парадоксальные, казалось бы, явления.

«Еще Александр I жаловался, что реформы „некем взять“, а ведь он имел дело с людьми конца XVIII – начала XIX века, куда более живыми, энергичными, чем омертвевшая за 30 лет николаевская бюрократия».

Но снова, как и в петровские времена, срабатывает удивительный закон: **«преобразования, едва начавшись, находят своих исполнителей»**.

И это оказалось поразительно точным наблюдением. Когда создавалась книга, еще не открылся Съезд народных депутатов (май 1989 года), где внезапно появилось целое созвездие ярких политиков...

Далее: «Изумляясь этому обстоятельству, известный историк Г. А. Джаншиев в конце XIX века писал: „Нивесть откуда явилась фаланга молодых, знающих, трудолюбивых, преданных делу, воодушевленных любовью к отечеству государственных деятелей, шутя двигавших вопросы, веками ждавших очереди и наглядно доказавших всю неосновательность обычных жалоб на неимение людей“».

Историк пояснил, что эти деятели пришли к своему делу разными путями: из старых дворянских гнезд, университетов, кадетских корпусов, из старых и новых философских кружков...

Еще летом 1857 года в ответ на обычное сомнение: найдутся ли реформаторы? – в одной из важнейших правительственных комиссий было отмечено: «Законодатель не должен видеть препятствие в недостатке хороших людей в России. Если он будет действовать под влиянием той мысли, что у нас нет людей, то в таком случае не представляется никакой надобности в улучшении...».

Эти слова произнес 72-летний председатель Государственного совета Дмитрий Николаевич Блудов.

С Блудовым мы уже встречались. Его участие в реформах было для Эйдельмана свидетельством сложности путей, которыми шли деятели пушкинской, декабристской эпохи. Обращает он внимание и на активнейшее участие в разработке и осуществлении крестьянской реформы Якова Ивановича Ростовцева, которого Герцен ославил как предателя. И Эйдельман с Герценом солидарен. Хотя есть серьезные доказательства того, что известный визит поручика Ростовцева к великому князю Николаю Павловичу 12 декабря был демаршем одной из группировок в тайном обществе, пытавшемся запугать Николая и заставить его отложить переприсягу.

Как бы то ни было, бывший член Северного общества Ростовцев, друг Оболенского, участник конспиративных совещаний в период междуцарствия, стал одним из верных соратников Александра II в деле освобождения крестьян.

Для Эйдельмана важна цельность процесса. Начавшиеся реформы сверху объединяют несколько поколений. При каких условиях пробуждаются подавленные обстоятельствами устремления молодости у тех, от кого, казалось бы, ждать этого не приходило? Почему образованный николаевский бюрократ, любимец Николая, лицеист Модест Корф, отнюдь не грешивший вольнодумством, становится усердным сотрудником Александра II?

Эйдельман подробно прослеживает процесс развития реформ с самого момента их зарождения – середины 1850-х годов. Но главный интерес – люди.

Событийная сторона существенна, но прежде всего внимание обращается на моменты, определяющие успех или провал реформ.

При каких условиях начинается встречное движение власти и общественного авангарда? Какую роль играет в такие моменты политическая воля лидера, в данном случае – государя?

«После длительного перерыва, после николаевского 30-летия, произошло определенное сближение тех, кто сверху проводил реформы, и тех, кто их реализовывал, ими воспользовался. Либеральная интеллигенция, разночинная демократия, большое число молодых людей и не только молодых – тех, кто пошел в земства, новые суды, новую армию, в мировые посредники...

Если бы „верхам“ удалось вступить с этой массой хотя бы приблизительно в те же отношения, в каких дворянская империя XVIII века была с десятками тысяч активных, просвещенных дворян, тогда... Тогда многое можно было бы сделать. Тогда обновленное государство получило бы, можно сказать, могучую, многомиллионную армию „внутренних сторонников“.

Однако века самовластия, крепостничества, отсутствия демократии делали свое дело. <...> Молодые люди стараются сеять „разумное, доброе, вечное“ – идут в земства, лечить, учить, просвещать; власть им не доверяет – выслеживает, притесняет, вызывает сопротивление и довольно быстро превращает в революционеров тысячи Базаровых».

Главы, посвященные эпохе Великих реформ, пожалуй, самые важные и актуальные в «Революции сверху».

Уроки Великих реформ и «контрреволюции сверху» Александра III – центральный сюжет работы – убийственно наглядная картина того, к чему приводят оборванные реформы и попытки остановить движение, то, что можно определить как «ложную стабильность». И роковой разрыв, роковые «ножницы» – «обновляющаяся экономика... никак не дополняется политикой».

Разумеется, в пределах небольшого предисловия невозможно, да и не нужно пытаться представить читателю обзор всей развернутой автором широчайшей исторической панорамы. В «Революции сверху» речь идет и о трагической судьбе Сперанского и его реформ, и о реформе Столыпина и о многом другом. Все это читатель найдет в трактате Эйдельмана и сделает свои выводы.

«Революция сверху в России» естественным образом завершает общий сюжет книги – представление феноменально образованного, оригинально мыслящего и живущего единой жизнью со своими героями историка.

Эйдельман не принадлежит к тем почтенным историкам, которые способны изучать и являть миру прошлое – «без любви и ненависти», холодно и возможно объективно. Более того, он принципиальный антидетерминист. Ему принадлежит формула: «Не было, но могло быть». Отсюда – исторический оптимизм при трезвой оценке текущей реальности.

«„Революции сверху“, нередко длящиеся 10–20 лет, в течение сравнительно короткого времени приводят к немалым, однако недостаточно гарантированным изменениям. Последующие отливы, „контрреволюции“ редко, однако, сводят к нулю предшествующий результат, так что новый подъем начинается уже на новом рубеже, чем предыдущий».

И в этом отношении Эйдельман вполне солидарен с идеями Марка Блока, словами которого я открыл это предисловие. Автор горького сочинения, написанного после страшного поражения его страны, ежедневно подвергающийся смертельной опасности, Блок исповедовал тот же исторический оптимизм: «История – это, по сути своей, наука об изменениях... Она может попытаться заглянуть в будущее; я думаю, что в этом нет ничего невозможного. Но она ни в коем случае не учит тому, что прошлое может вернуться, что происшедшее вчера может случиться сегодня»<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Блок М. Странное поражение. М., 1999. С. 18.

И свой трактат-наставление, рассказав о тяжелейшем пути России в поисках свободы и процветания, Эйдельман заканчивает так: «Мы верим в удачу – не одноразовый подарок судьбы, а трудное движение с приливами и отливами – но все же вперед.

Верим в удачу – ничего другого не остается».

В последние месяцы жизни, предвидя свой уход, Эйдельман торопился передать своим согражданам тот опыт, который стал результатом его напряженной интеллектуальной жизни – рядом со своими героями. Теми героями, которые в свою очередь жили единой жизнью со своим Отечеством, своими судьбами формируя его, Отечества, судьбу.

Оттого можно с полным правом определить предлагаемый читателю том как «книгу судеб», среди которых судьба ее автора занимает свое место.

В настоящий сборник включены работы Натана Эйдельмана, не только посвященные разным темам, но написанные в расчете на разные читательские аудитории. С самого начала своей творческой работы автору важны были как задачи строго научного исследования, так и широкого гуманистического просвещения. В ходе этой работы он открывал для своих читателей целые пласты русской истории и культуры, выводя на поверхность потаенные события и обнаруживая неожиданные аспекты судеб важных для русской истории персонажей.

Издатели надеются, что эта книга даст современному читателю представление о многогранном наследии ученого и писателя, который, не дожив до новой эпохи, сколько стало сил готовил ее приход.

*Я. Гордин*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

### ДВЕ ТЕТРАДИ (ЗАМЕТКИ ПУШКИНИСТА)

*Ветер выл...*  
(«*Пиковая дама*»)

*...И ветер дул, печально воя...*  
(«*Медный всадник*»)

Подлинные пушкинские рукописи, прежде разбросанные по разным архивам и собраниям, теперь почти все в Ленинграде, на Васильевском острове, в Отделе рукописей Пушкинского Дома, то есть Института русской литературы Академии наук.

К тетрадам и листам, исписанным пушкинской рукой, допускают здесь очень редко, неохотно. В самом деле, ведь все сфотографировано; фотокопии можно получить и здесь, в Ленинграде, и в Москве. Вот разве что исследователю нужно точнее понять разницу цвета чернил в соседних отрывках (и по такому признаку определить, что, когда, в каком порядке сочинил Пушкин); разве что необходимо для дела рассмотреть столь тонкие подробности, которые незаметны или плохо различимы на фотографии... Тогда по особому разрешению дирекции Пушкинского Дома хранительница рукописей Римма Ефремовна Терехина, бывало, отмыкала «заветную кладовую», в которой число отдельных единиц хранения уже приближается к 1800 (от самой ранней лицейской записочки Горчакову до письма к Ишимовой, законченного перед самой дуэлью).

Тогда счастливицу (в число которых попадал и автор этих страниц) удавалось взглянуть на *те самые*, подлинные тетради, листы...

«*Мой дядя самых честных правил*» – замечаем мы маленькую, скромную, мелкими буквами строчку, как бы выброшенную на один из листов огромной тетради в массивном переплете (она предназначалась для делопроизводства кишиневской масонской ложи «Овидий», но ложу запретили, и тетради – точнее, рукописные книги – достались Пушкину).

Нелегко сразу понять, что именно вот эта строчечка и есть первое появление на свет «Евгения Онегина».

От этих пяти слов произойдут все миллионы, сотни миллионов печатных красивых, крупных – «*Мой дядя самых честных правил...*».

Даже неудобно как-то за Пушкина, что знаменитейшую строку он столь небрежно, буднично записал; и тем более – когда, перевернув зачем-то тетрадь, стал писать с конца, а на заднем переплете столь же небрежно, «между прочим», сочинил «*У лукоморья дуб зеленый...*».

«Черновики Пушкина» – называется книга замечательнейшего знатока, одного из лучших читателей этих тетрадей Сергея Михайловича Бонди (1891–1983). Говорили, что из всего главного отряда старых пушкинистов (Бартенев, Щеголев, отец и сын Модзалевские, Томашевский, Оксман, Тынянов, Цявловский, Благой, Алексеев, Измайлов – мы перечислили, разумеется, далеко не всех), что из всех этих исследователей Сергей Михайлович Бонди и Татьяна Григорьевна Цявловская выделялись своим, можно сказать, фантастическим умением прочитывать такие пушкинские черновики, при одном виде которых оторопь берет – как вообще здесь можно хоть что-нибудь разобрать?..

Черно-синие, чуть порыжелые строки, густо перечеркнутые, а сверху дописаны новые, опять зачеркнуто, затем восстановлено старое, и снова – не так... Пушкин обходит недающее место, несется дальше – и вдруг дело пошло, мысль обгоняет запись, поэт едва успевает черточками, пунктиром обозначить слова, к которым вернется позже, а пока – некогда, фиксируются лишь рифмы. На листе, по выражению Бонди, «*стенограмма вдохновения...*».

Так обстоит дело со стихами, с прозой – легче. Пушкин часто пишет ее, можно сказать, набело, и все понятно, но вдруг чернила сменяются карандашом – иные строки не разобраны и поныне, а физики обдумывают надежные способы просвечивания...

Еще и еще страницы, а на них десятки быстрых рисунков, портретов, где пытаемся узнать пушкинских современников; пейзажи-иллюстрации; нет, оказывается, создавая собственные сочинения, Пушкин почти никогда не рисовал «по теме», а чаще всего что-то совсем не относящееся к сюжету, – и тут уж открывается целый мир для психолога...

Много лет мечтают профессионалы и любители, чтобы все пушкинские тетради (об отдельных листках пока не говорим), чтобы все его главные тетради были изданы как «фотокниги» и каждый мог бы, не заходя в архив, а просто у себя дома или в библиотеке погрузиться в вихрь пушкинских строк и замыслов, чтобы мог глазами увидеть первый раз в истории написанное «*Мой дядя самых честных правил...*». К сожалению, пока эта прекрасная идея еще не осуществилась... Лишь немногие пушкинские рукописи превратились в *книжки*<sup>20</sup>.

В частности, перед войной была издана фототипически – «вся как есть» – одна тетрадь (которая, кстати, станет главной героиней во второй половине нашего повествования).

Сто с лишним лет назад, к открытию памятника Пушкину в Москве, сын поэта Александр Александрович подарил все хранящиеся у него отцовские тетради Московскому Румянцевскому музею (будущей Государственной библиотеке имени В. И. Ленина).

Тетради получили свои архивные номера, под которыми и прославились... Позже, когда настал час им переезжать в Пушкинский Дом, номера переменились; но – да простят нас ленинградские хранители – в дальнейшем повествовании мы будем величать *нашу рукопись* ее старинным именем: знаменитая тетрадь № 2373 (ныне № 842).

Тетрадь не очень-то велика – пропуская некоторые листы, Пушкин воспользовался всего сорока одним... Сначала, с 1-го по 14-й, – разные наброски и отрывки конца 1829-го – начала 1830-го; дойдя примерно до середины, по старинной своей привычке, тетрадь перевернул и принялся писать задом наперед; мелькают строки русские, французские – этим нас не удивишь; в других тетрадях попадают итальянские, турецкие... Посредине же тетради 2373, примерно там, где сходятся два рукописных потока (от начала и от конца), – там множество, десятки строк рукой Пушкина *по-польски*, и это уже целая история, удивительная, таинственная, которую, конечно же, мы в своем повествовании не минуем...

То тут, то там на листах вспыхивают даты – Пушкин вообще любил расставлять: «*окт. 1833*», «*6 окт.*», «*1 ноября 5 ч. 5 минут*».

**Вторая Болдинская осень**, 1833 года. Несколько менее знаменитая, чем первая, главная, в 1830-м.

Действительно, плоды 1833-го не столь многочисленны. **Всего лишь** – «Пиковая дама», «Медный всадник», «История Пугачева», «Анджело», стихотворения: стоит ли говорить, как изучены, тысячекратно прочитаны болдинские тетради – наша, № 2373 (и соседняя, 2374)?

И все же мы приглашаем... Приглашаем всего к нескольким листам, к нескольким *мелочам*.

<sup>20</sup> Благодаря российско-английскому сотрудничеству это издание было осуществлено. А. С. Пушкин. Рабочие тетради: В 8 т. Российская академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом). Консорциум сотрудничества с Санкт-Петербургом. (Факсимильное издание). СПб.: Пушкинский Дом; Лондон, 1997. Позже вышли «болдинские тетради», подготовленные Пушкинским Домом и издательством «Альфарет». А. С. Пушкин. Болдинские рукописи 1830 года. СПб., 2010.

То, что принято называть «психологией творчества», большей частью неуловимо, не постижимо, но иногда вдруг, следуя за частностью, подробностью, попадаем в такие глубины, откуда дай бог выбраться, где *«мысль изреченная есть ложь...»*. Итак, в № 2373, во вторую болдинскую, в *«ненастные дни»*.

## 1. А в ненастные дни...

После первых четырнадцати листов нашей тетради – один чистый отделяет ранние записи от черновиков 1833 года. С 15-го по 41-й лист занимают наброски поэмы «Езерский», которая *на глазах «превращается»* в «Медного всадника». Там же польские стихи... Но перед всем этим на листе 15 находим эпитаф:

*А в ненастные дни  
Собирались они  
Часто;  
Гнули...  
От пятидесяти  
На сто.  
И выигрывали  
И отписывали  
Мелом.  
Так в ненастные дни  
Занимались они  
Делом.*

*(Рукописная баллада)*

Вслед за эпитафом Пушкин записал: «года 2», затем попробовал – «лет 5», «года три», все зачеркнул и продолжал:

*«Года 4 тому назад собралось у нас в Петербурге несколько молодых людей, связанных между собою обстоятельствами. Обедали у Андрие без аппетита, пили без веселости, ездили к Софье Астафьевне побесить бедную старуху притворной разборчивостью; день убивали кое-как, а вечером по очереди собирались друг у друга (и всю ночь проводили за картами)».*

Это, разумеется, начало «Пиковой дамы»: эпитаф уже *почти тот*, что попадет в печать (о нем – чуть позже); впрочем, первые строки – *не совсем те*: вместо медленного, постепенного черновика – в окончательном тексте явится стремительная фраза, сразу завязывающая действие: *«Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова»*. К сожалению, мы лишены возможности проследить по рукописи, как Пушкин работал над будущей повестью, потому что почти все ее черновики пропали (как будто специально для того, чтобы «Пиковая дама» была еще более загадочной!). Однако начало повести уже тут, в тетради 2373, – сомнений вызвать не может. Тем более что на 18-м листе – появляется Герман (пока что в его имени одно *н*, после станет два); правда, герой стремится еще не к Лизавете Ивановне, а к некоей Шарлотте Миллер («немецкий колорит» в черновике, как видим, куда сильнее, чем в окончательном тексте!):

*«Теперь позвольте мне короче познакомить вас с Шарлоттой. Отец ее был некогда купцом второй гильдии, потом аптекарем, потом директором пансиона, наконец, корректором в типографии и умер, оставя жене кое-какие долги и довольно полное собрание бабочек и насекомых...»*

Далее сообщается, что Герман *«познакомился с Шарлоттой и скоро они полюбили друг друга, как только немцы могут еще любить в наше время. Но в сей день... когда милая немочка*

*отдернула белую занавеску окна, Герман не явился у своего васисдаса и не приветствовал ее обычной улыбкою».*

Мы догадываемся, что дело связано с картами, и узнаем, кстати, про Германа, что *«отец его, обрусевший немец, оставил ему после себя маленький капитал. Герман оставил его в ломбарде, не касаясь и процентов, и жил одним жалованьем. Герман был твердо etc».*

На этом месте черновик обрывается, а сбоку набросаны и зачеркнуты подсчеты:

40	60
80	120
160	240
280	420

Это Пушкин примеряет, сколько капитала дать Герману, чтобы он трижды поставил «на тройку, семерку и туза»: в первый раз дано 40 тысяч рублей, потом 60; в конце концов Пушкин выбрал любопытную цифру – 47 тысяч: именно такой должна быть ставка аккуратнейшего Германна: не 40 или 45, а точно 47 тысяч, все, что имеет, до копейки...

Но мы остановились на краю одного из немногих черновых фрагментов «Пиковой дамы», на словах *Герман был твердо...*

Продолжая рассматривать тетрадь № 2373, замечаем, как оборвавшаяся строка повести вдруг продолжается карандашной записью стихов:

*...Ветер выл,  
Дождь капал крупный...*

Строки известные: похожи на «Медного всадника», но еще не совсем *Медный всадник*: это *Езерский*, пушкинское сочинение о скромном петербургском герое и наводнении, из которого вскоре очень многое перейдет в главную поэму о несчастном Евгении и *«кумире на бронзовом коне»*.

Итак, проза пока оставлена, и строфы понеслись *«над омраченным Петроградом...»*, к «Медному всаднику». В опубликованной же вскоре после того «Пиковой даме» Германн оказывается перед домом графини: *«Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями»*. Эти редкие, удивительнейшие переходы прозы в «родственный стих» и обратно несколько лет назад глубоко изучила Н. Н. Петрунина (ее работа была напечатана в X выпуске научного сборника «Пушкин. Исследования и материалы»). Не повторяя ее наблюдений, отметим только необыкновенное умение «славного алхимика» Александра Сергеевича Пушкина и прозу переливать в стихи, и стихи в прозу; любопытно, как интуитивно ощущал близость, родственность двух «петербургских повестей» о бедных безумцах Германне и Евгении замечательный мастер художественного слова Владимир Яхонтов: выступая с чтением «Пиковой дамы» – в том месте, где Германн стоял под ветром и снегом, – он «перебивал» прозу *воющим ветром* и дождем «Медного всадника»...

Однако первые черновики «Пиковой дамы» – на том листе, где «*Герман твердо...*», – пока что отброшены. В 1833-м Пушкин вообще многого не оканчивает: «Дубровского», «Пиковую даму», «Езерского».

Но вот тетрадь «перевернута», и от этой волшебной операции, недалеко от 15-го листа, является опять несколько строк прозы, которые заслуживают того, чтобы повнимательнее к ним присмотреться:

*«Илья Петрович Нарумов долго был дворянским предводителем одной из северных наших губерний. Его звание и богатство давали ему большой вес во мнении помещиков, соседей. Он был избалован их обращением – слишком уж снисходительным – и привык давать полную волю порывам из своего пылкого и сурового и... довольно ограниченного ума».*

Что это такое?

Начиная с первой публикации отрывка, в 1884 году, он традиционно связывается с «Дубровским». Как ранний отрывок из «Дубровского» он публикуется и в современных академических изданиях.

Действительно, сходство Ильи Петровича Нарумова с Кирилой Петровичем Троекуровым очень велико и не случайно... И все же это не Дубровский!

Во-первых, ни в одной из многочисленных черновых рукописей «Дубровского» пылкий, суровый и ограниченный Троекуров не появляется под другой фамилией.

Во-вторых, если предположить, что перед нами все-таки вариант «Дубровского», тогда он должен датироваться не позже февраля 1833 года (именно в этом месяце Пушкин решительно отложил повесть в сторону).

Между тем положение отрывка в тетради № 2373 не оставляет никаких сомнений, что он написан не раньше конца июля – начала августа 1833-го, то есть непосредственно перед вторым Болдином или во время его.

Осенью 1833-го к «Дубровскому» Пушкин не возвращается. Зато завершается «Пиковая дама», и тут никак не можем удержаться от некоторых предположений.

Фамилия героя хорошо знакома – она звучит уже в первой фразе «Пиковой дамы» и далее появляется еще несколько раз. Возможно, молодой конногвардеец Нарумов играл в повести первоначально более заметную роль, о чем, между прочим, говорит и еще один сохранившийся черновой фрагмент:

*«Чекалинский глазами отыскал Нарумова – Как зовут вашего приятеля, спросил Чекалинский у Нарумова».*

Илья Петрович, правда, не молод, не служит; но, возможно, в «Пиковую даму» была сначала внесена «родословная» конногвардейца Нарумова – и вот здесь-то Пушкин использовал для новой повести переработанный фрагмент старой, «Дубровского». Быстрый ум поэта довольно часто обращался к давно оставленным, отвергнутым строкам, строфам, главам – и, глядь, какая-нибудь фраза или образ 10–15-летней давности возвращается на новое место, в сегодняшнюю повесть, поэму...

К тому же Н. Н. Петрунина заметила, что в петербургских стихах и прозе возникают, исчезая и меняясь, «сходные обстоятельства»:

*«Фабула обеих повестей, – пишет исследовательница, – и стихотворной, и прозаической, – это рассказ об исключительном происшествии из жизни ничем внешне не примечательного петербуржца, происшествии, обернувшимся крахом надежд и гибелью героя. И в „Пиковой даме“, и в „Медном всаднике“ эта человеческая трагедия представлена как малый эпизод из жизни большого города, как момент, когда прорываются наружу и открыто сталкиваются те противоборствующие стихии, которые в другое время присутствуют в ней в скрытом виде».*

*И в повести, и в поэме исходная ситуация определена социальным и имущественным статусом героя. Но и не только ими. Не случайно „Езерский“ был начат с родословной героя. В „Медном всаднике“ Пушкин отказался от родословной...»*

Можно, кажется, допустить, что и «Пиковая дама» сначала открывалась родословной, историей предков; и таким образом Кирила Петрович Троекуров на глазах превратился в отца молодого конногвардейца, Илью Петровича Нарумова; но в конце концов старик в «Пиковой даме» «не удержался». Его остановило обычное пушкинское стремление – очистить текст от замедляющих, отягощающих сюжетных линий и подробностей... Мелькнувший Нарумов-отец и едва заметный теперь Нарумов-сын являются «реликтом» первоначального, позже оставленного замысла.

«Пиковая дама» в какой-то момент «приняла» в свой текст переработанные строки «Дубровского», но затем *раздумала*... Завершилась одновременно с «Медным всадником» и «Пугачевым». Быстро, нервно, трагически. Все это – гипотезы, гипотезы... Повесть, загадочная с первых строк...

### С заглавия

В заглавии два слова – Пушкин не любит длинных: «Выстрел», «Барышня-крестьянка», «Дубровский»; название в три слова, «История села Горюхина», – это уже стилизация.

«Пиковая дама», читаем мы и уже ощущаем быстрый, сжатый, точный стиль повествования (понятно, совсем иной ритм диктуют такие заглавия, как «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»).

После заглавия один за другим следуют два эпиграфа. Сначала ко всей повести —

*Пиковая дама означает тайную недоброжелательность.*

*Новейшая гадательная книга.*

Невнимательный читатель не увидит здесь ничего особенного: иллюстрация к тому, что дальше произойдет; «повесть о карточной игре, и эпиграф о том же!» На самом же деле автор, с легкой улыбкой, ненавязчиво, впервые представляет важнейшую мысль и для 1834-го, и для 1980-х...

«Новейшая гадательная книга», то есть только что выпущенная столичной типографией, «последнее слово»... «Новейшая» – значит, лучшая, умнейшая, совершеннейшая... или – отнюдь нет? Примета «дремучей старины», дама пик и ее угрозы, вдруг снабжается суперсовременной этикеткой. Это примерно то же самое, как если бы существование привидений и демонов обосновывалось ссылками на новейшие труды по квантовой физике или кибернетике.

Время «Пиковой дамы» – эпоха первых железных дорог, пароходов; уже поговаривают о телеграфе, электричестве. Но стал ли мир умнее, свободнее? Или призраки его одолевают еще сильнее? Ведь если книга «новейшая» – значит, перед ней были «новая», «не очень новая», «давняя», «старинная»... Но главное – гадательные книги выходили, выходят, будут выходить; все это, очевидно, нужно очень многим.

Разумеется, Пушкин был далек от той задачи, которую современный лектор назвал бы «борьбой с суевериями». Известно, что они ему самому не были чужды. Громадным, всеохватывающим умом он, может быть, пытается как раз понять, отчего «чертовщина» не чужда лучшим, просвещеннейшим людям? Кстати, заметим, что Германн – немец, инженер: новейшая профессия, культурнейшая нация...

В XIX веке подобные люди не веруют, «не имеют права» верить в чудеса, которые являлись дедам и прадедам. Зато простодушный предок, веривший в духов и ведьм, находил естественным разные невероятные совпадения (вроде появления Пиковой дамы и т. п.); привидение 500 лет назад было куда менее страшным, чем теперь! Просвещенный же потомок, твердо

знающий, что *духов нет*, часто их боится поэтому куда больше. Слишком уверовав во всеислие новейшей мудрости, он вдруг теряется перед страшным, непонятым, давящим – тем, что обрушивается на него из большого мира и чего вроде *не должно быть*...

Правда, «для вольнодумцев XVIII века именно отказ от идеи божественного промысла выдвигал на первый план значение случая, а приметы воспринимались как результат вековых наблюдений над протеканием случайных процессов» (Ю. М. Лотман). Однако эта система далеко не всегда утешала, приходилась «по сердцу». Пушкин не раз писал о распространенном грехе полупросвещения, то есть незрелого самообмана. «Новейшая гадательная книга» – одна из формул этого состояния ума и духа...

Вот сколько ассоциаций может явиться при медленном чтении первого эпитафия; может... хотя все это необязательно, Пушкин не настаивает: в конце концов, он создал повесть о Пиковой даме, и первый эпитаф тоже о ней – вот и все...

Не таков ли и второй эпитаф, следующий сразу за первым? В печатном тексте он несколько изменился по сравнению с первым появлением в рукописи:

*А в ненастные дни  
Собирались они  
Часто;  
Гнули – бог их прости! –  
От пятидесяти  
На сто,  
И выигрывали  
И отписывали  
Мелом.  
Так в ненастные дни  
Занимались они  
Делом.*

Опять – легкий, веселый, «иллюстративный» эпитаф. Все просто, все понятно...

Только одно *недоразумение*: довольно быстро эти строки стали распространяться среди запрещенных, нелегальных стихотворений, и это длилось более 20 лет, пока в 1859 году одна из вольных рукописей не достигла Лондона и не была опубликована в «Полярной звезде» Герцена и Огарева – печатном убежище всей крамольной рукописной литературы. Герцен, Огарев, а также те, кто прислал материал (по-видимому, из круга Тургенева, Анненкова), конечно, читали «Пиковую даму» и отлично знали второй эпитаф.

И все же вот под каким заглавием и в каком контексте он публиковался в Вольной русской типографии:

*Стихотворения Рылеева и Бестужева.  
Ты скажи, говори,  
Как в России цари  
Правят.  
Ты скажи поскорей,  
Как в России царей  
Давят.  
Как капралы Петра  
Провожали с двора  
Тихо.  
А жена пред дворцом*

*Разъезжала верхом  
Лихо.  
Как в ненастные дни  
Собирались они  
Часто.  
Гнули – бог их прости! –  
От пятидесяти  
На сто.  
И выигрывали  
И отписывали  
Мелом.  
Так в ненастные дни  
Занимались они  
Делом.*

Как же быть, кто автор?

Пока что мы должны констатировать, что для определенной, весьма просвещенной части читателей пушкинского и послепушкинского времени строчки «*Как в ненастные дни...*» были частью сверхкрамольного, агитационного декабристского сочинения о том, как «давили» цари друг друга (лихо разъезжающая перед дворцом Екатерина – своего мужа Петра III, сторонники Александра I – «курносого злодея» Павла); напоминание, что эту «традицию» нужно продолжить. Действительно, размер, ритм, которым написаны разные куплеты этого сочинения, последовательно выдержан, он очень оригинален, его невозможно спутать с каким-либо другим, это настолько очевидно, что в конце прошлого и начале нашего века специалисты готовы были допустить:

1) что все опасные куплеты написал Пушкин;

2) что те же строки, включая и «*ненастные дни*», сочинили поэты-декабристы Рылеев и Александр Бестужев.

Однако гипотезы эти были быстро отброшены. Авторитетные свидетельства и списки подтвердили, что Рылеев и Бестужев в самом деле незадолго до 14 декабря создали несколько боевых, лихих агитационных песен, в том числе «Ты скажи, говори...». Но строки про «*ненастные дни*» там отсутствовали. Они рождаются несколько лет спустя, когда Рылеева уже давно не было в живых, а Бестужев находился в якутской ссылке.

В письме к Вяземскому из Петербурга от 1 сентября 1828 года Пушкин между прочим замечает:

*Я... продолжал образ жизни, воспетый мною таким образом.  
А в ненастные дни собирались они часто.  
Гнули <...> от 50-ти на 100.  
И выигрывали и отписывали мелом.  
Так в ненастные дни занимались они делом.*

Как видим, один из эпиграфов к «Пиковой даме» появляется на пять лет раньше самой повести и, несомненно, сочинен самим Пушкиным («воспетый мною...»).

«Пушкин просто воспользовался легким размером Рылеева», – заметил несколько десятилетий назад Н. О. Лернер. Однако нам явно недостаточно такого *просто* объяснения. Пушкинист ставит точку там, где должно быть вопросительному знаку! Ведь сотни читателей знали, слышали дерзкие куплеты Рылеева и Бестужева. Один их ритм вызывал совершенно определенные ассоциации, и мы видели, что четверть века, до герценовских времен, впечатление

было устойчивым. Пушкин, конечно, все это понимал, и если *«воспользовался легким размером Рылеева»*, то совершенно сознательно. Зачем же?

Простая пародия на декабристов была бы невозможным кощунством. Соблазнительно другое, прямо противоположное объяснение: Пушкин «подает сигнал» читателям, друзьям, сосланным декабристам, нечто вроде приветствия Александру Бестужеву, который прочтет «Пиковую даму» и, разумеется, узнает «свой размер». Надо думать, такая мысль у Пушкина была, но тут опасно (ибо очень хочется!) увлечься; следует воздержаться от слишком простого объяснения: ритм «декабристский», но смысл вроде бы совсем иной!

Кстати, каков же смысл? Что здесь еще, сверх карточной горячки, где *«выигрывали и отписывали мелом»*?

В конце пушкинской повести гибнет человек, но на это никто не обращает внимания. «„Славно спонтировал!“ – говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом».

Последняя фраза возвращает читателя к эпиграфу. *Игра пошла своим чередом* – это лишь по-другому сказанное *«а в ненастные дни занимались они делом...»*.

Трудно, может быть, и невозможно полностью представить мелькнувшую пушкинскую мысль. В *ненастные дни* 1833 года в Болдине, над «Пиковой дамой» (а также «Медным всадником» и «Пугачевым»), Пушкин вспоминал и тех, которые некогда «собирались часто», а потом за свое *дело*, за один декабрьский *ненастный* день пошли в Сибирь, на Кавказ – игра же (человеческая, историческая) «пошла своим чередом...».

И прежде *«в ненастные дни»* они собирались – те, кто *«тихо провозжали»* Петра III; те, кто свергали *«курносого злодея»*; наконец, кто пел, смеялся, *«гнул от пятидесяти на сто»* и занимался *делом* вместе с Рылеевым, Бестужевым.

*Сначала эти заговоры  
Между Лафитом и Клико  
Лишь были дружеские споры,  
И не входила глубоко  
В сердца мятежная наука...*

Те времена миновали – *«иных уж нет, а те далече»*; внешне же кажется, что не изменилось ничего. Пришли новые ненастные дни, новые игроки, страсти; другое время – другие люди занимаются делом. Каким? Зачем?

Чтобы ответить, может быть, следует сравнить прежние времена с пришедшей на их место новой, торопящейся эпохой. *Занимающейся делом.*

### *Лет шестьдесят назад*

В наших странствиях по одной пушкинской тетради и «вокруг нее» мы забредаем далеко. Разные времена...

Говоря о бабушке, графине Анне Федотовне, ее ветреный внук Томский описывает события, случившиеся с ней в Париже *«лет шестьдесят назад»*. Это число встречается в «Пиковой даме» не раз. *«Лет шестьдесят назад, – думает Германн после гибели графини, – в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный а l'oiseau royal («королевской птицей», журавлем, фр. – Н. Э.), прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливчик, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться...»*

Шестьдесят лет назад – это 1770-е годы, до Великой французской революции и Наполеоновских войн. Заметим также, что 1770-е годы – это время Пугачева, а рассказ о молодости

графини как бы «изнанка» пугачевской *Истории*, которую как раз Пушкин пишет в Болдине в это же время.

Веселый, небрежный рассказ Томского о давних временах напоминает внукам (знающим, что произошло потом) о вещах серьезных, страшных. Дело в том, что нам, в конце XX столетия, очень трудно, а по совести говоря, невозможно читать Пушкина глазами его современников. Многие ученые изучили все или почти все книги, которые открывал или мог прочитать поэт; это очень расширило «чувство истории», но все же не сделало их людьми пушкинской поры... И вот перед нами задача – уловить, угадать, какие воспоминания, образы, ассоциации являлись человеку 1830-х годов, когда при нем произносилось *60 лет назад*: Париж, герцог Ришелье, Сен-Жермен, дамы, играющие в фараон...

Поразмыслив, поискав, утверждаем: молодость бабушки Анны Федотовны заставляла 60 лет спустя вспоминать хорошо, «наизусть» известные русскому образованному читателю строки из «Писем русского путешественника» – одной из самых популярных, «хрестоматийных» книг.

В главе, сопровождаемой авторской датой «Париж... апреля 1790», Карамзин писал:

*«Аббат Н\* <...> признался мне, что французы давно уже разучились веселиться в обществах так, как они во время Людовика XIV веселились. <...> Жан Ла (или Лас), – продолжал мой аббат, – Жан Ла несчастною выдумкою банка погубил и богатство, и любезность парижских жителей, превратив наших забавных маркизов в торгашей и ростовщиков; где прежде раздроблялись все тонкости общественного ума, где все сокровища, все оттенки французского языка истощались в приятных шутках, в острых словах, там заговорили... о цене банковых ассигнаций, и дома, в которых собиралось лучшее общество, сделались биржами. Обстоятельства переменились, Жан Ла бежал в Италию, но истинная французская веселость была уже с того времени редким явлением в парижских собраниях. Начались страшные игры; молодые дамы съезжались по вечерам для того, чтобы разорять друг друга, метали карты направо и налево и забывали искусство нравиться <...> Все философствовали, важничали, хитрили и вводили в язык новые странные выражения, которых бы Расин и Дебрео понять не могли или не захотели, – и я не знаю, к чему бы мы наконец должны были прибегнуть от скуки, если бы вдруг не грянул над нами гром революции».*

Карамзинские и пушкинские страницы сопоставляются очень любопытно.

Внешне легкая, шутливая ситуация (скука – революция) применена Карамзиным к очень серьезным, кровавым обстоятельствам: ведь «Письма русского путешественника», посвященные сравнительно умеренному периоду Французской революции (1790 год, еще не 93-й!), публиковались уже после якобинской диктатуры и термидора; по версии «аббата Н\*», предыстория краха старого режима во Франции, между прочим, связана с тем, что французы «разучились веселиться», стали «торгашами и ростовщиками», предались «страшной игре». Сегодняшний строгий исследователь сказал бы, что аббат («устаи Карамзина») с печалью констатировал «глубочайший кризис феодальных устоев во Франции, неизбежное приближение иного, буржуазного мира».

Джон Ло (Жан Ла; 1671–1729), шотландец по происхождению, французский финансист (в 1720-х годах на короткое время генеральный контролер французских финансов), основавший банк с правом выпуска бумажных денег ввиду недостатка звонкой монеты. Необеспеченность выпущенных банкнотов вызвала неведомый прежде биржевый ажиотаж и спекуляцию. В пушкинском «Арапе Петра Великого» мы между прочим находим: «На ту пору явился Law, алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гнила; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей».

Конечно, согласимся мы, – это прогресс, но неминуемо связанный с жертвами, утратами...

В «Пиковой даме» молодая графиня (будущая бабушка) как будто сходит с карамзинских страниц, где в предреволюционном Париже *«молодые дамы съезжались по вечерам для того, чтобы разорять друг друга, метали карты направо и налево и забывали искусство нравиться»*.

*«Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счета, доказал ей, что в полгода она издержала полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости.*

*На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений; думала усюветить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь и что есть разница между принцем и каретником. Куда! Дедушка бунтовал»*.

Бабушка, прожившая в Париже за полгода полмиллиона, и «бунтующий дедушка» – это как бы легкая пародия на бунт, который зреет в это время в России и вскоре дойдет до саратовских имений графа и графини. Бабушка снисходительно объясняет дедушке, что есть *«разница между принцем и каретником»*, – но ведь все знают, что лет через двадцать каретники возьмутся за принцев. Партнер бабушки по картам герцог Орлеанский не доживет нескольких лет до падения Бастилии, но его сын Филипп вступит в якобинский клуб, будет именоваться «гражданин Эгалите», проголосует за смертную казнь своего близкого родственника Людовика XVI и потом сам сложит голову на эшафоте; внук же бабушкиного партнера и сын гражданина Эгалите за три года до написания «Пиковой дамы» взойдет на французский престол под именем короля Луи-Филиппа (чтобы в 1848-м быть свергнутым очередной революцией).

Сегодня эти сопоставления далеко не очевидны; в пушкинскую пору – едва ли не тривиальны...

Итак, поэт размышляет и сопоставляет: что безвозвратно утрачено вместе с XVIII столетием, что несет *новейшее* время, *новейшие* гадательные книги?

В сцене, где Германн идет в спальню престарелой графини, его снова окружают «призраки» 1770-х годов: Монгольфьеров шар, Месмеров магнетизм, мебель, которая стоит около стен *«в печальной симметрии»*, портреты старинных мастеров, фарфоровые пастушки, старые часы... Обрисовав в предшествующих главах отвратительный образ дряхлой, равнодушной графини и как будто грустно посмеявшись над ее временем, Пушкин затем постепенно «ведет партию» против Германна и отчасти за графиню. На стене незванный гость видит портрет румяного и полного мужчины в мундире со звездой и *«молодую красавицу с орлиным носом, зачесанными висками и с розою в пудренных волосах»*. Очевидно, это молодая графиня и ее муж.

Германн, требующий секрета трех карт, все больше утрачивает человеческое; Пушкин пишет, что он *«окаменел»*. Между тем в лице графини – *«живое чувство»*. Она вызывает все большее сострадание; Германн убивает ее из корысти, в то время как некогда она щедро открыла свой секрет, по-видимому повинувшись живому чувству... Что же, Пушкин вздыхает, жалеет невозвратимую старину? Да, да... и конечно же нет! Разумеется, он мыслит исторически, понимает безвозвратность прошедшего. Если он сожалеет о старинном рыцарстве, чести, некоторых сторонах прежнего просвещения, то хорошо помнит, какой ценой все это достигалось и какая «пугачевщина», какие «гильотины» явились возмездием за всю эту роскошь...

Но что же несет новый, торопливый, суевающийся мир «прихода и расхода»? Вопрос важнейший.

Только что мы отыскивали в тетради *столкновение* родственных образов – *«ветер выл...»*. Но ведь за три года до «Пиковой дамы» важнейшие ее идеи были уже «отрепетированы» в другом сочинении, поэтическом, создавая которое Пушкин, наверное, не подозревал, что и «отсюда» уже зарождается будущая повесть! О, эта «психология творчества»!

Князь Юсупов, герой стихотворения «К вельможе», в юности видит те же салоны и балы, что графиня Томская (и карамзинский *Аббат Н\**):

*.....увидел ты Версаль.  
Пророческих очей не простирая вдаль,  
Там ликовало все.  
Армида молодая,  
К веселью, роскоши  
Знак первый подавая,  
Не ведая, чему судьбой обречена,  
Резвилась, ветреным двором окружена.*

Не ведая, как не ведала и «бабушка», резвятся, шумно забавляются. Но Пушкин уже *ведает...*

Затем *Вельможа* – свидетель великих событий, переменивших историю Европы:

*Все изменилось.  
Ты видел вихорь бури,  
Падение всего, союз ума и фурий,  
Свободой грозною воздвигнутый закон,  
Под гильотинною Версаль и Трианон  
И мрачным ужасом смененные забавы...*

У Карамзина: «...если бы вдруг не грянул над ними гром революции». Пушкин далек от того, чтобы подвести итог, определить окончательный смысл всех этих событий. Ему ясно, что «преобразился мир при громах новой славы», но это преобразование породило новый человеческий тип, к которому относится и Германн.

Стендаль, между прочим, писал о дворе Наполеона I: «Празднества в Тюильри и Сен-Клу были восхитительны. Недоставало только людей, которые умели бы развлечься. Не было возможности вести себя непринужденно, отдаваться веселью; одних терзало честолюбие, других – страх, третьих волновала надежда на успех».

К этому же спешащему, нервному типу относится и Германн, о котором нельзя было даже сказать – «разучился веселиться», ибо, кажется, никогда этого не умел...

*Свидетелями быв вчерашнего паденья,  
Едва опомнились младые поколенья.  
Жестоких опытов сбирая поздний плод,  
Они торопятся с расходом свесть приход.  
Им некогда шутить, обедать у Темиры.  
Иль спорить о стихах...*

В мире Германна все меньше шутят, все больше «сводят с приходом расход»; скучная, жадная, «страшная» (карамзинское слово) карточная игра, и рядом – предчувствие: неясное, неявное, но зловещее, как в «Медном всаднике»; предчувствие грядущего взрыва не слабее французского: взрыва, что похоронит уже и эту торопливую цивилизацию, как прежний похоронил «Версаль и Трианон», но еще неизвестно, скоро ли новый катаклизм; а пока что Германны приближаются, наступают...

Павел Вяземский, сын пушкинского друга, заметит:

*«Для нашего поколения, воспитывавшегося в царствование Николая Павловича, выходки Пушкина уже казались дикими. Пушкин и его друзья, воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула этой эпохи, щеголяли воинским удальством и каким-то презрением к требованиям гражданского строя. Пушкин как будто дорожил последними отголосками беззаветного удальства, видя в них последние проявления заживо схороненной самобытности жизни».*

Начав с частных, черновики, датировки и тому подобного, мы, кажется, коснулись вещей важнейших: пугачевская война и крестьянские, холерные бунты начала 1830-х годов; страшный крах той цивилизации, где была молода старая графиня, и загадка нынешнего мира, которым пытается овладеть Германн.

*«Куда ты скачешь?..»* – обо всем этом, а также о многом другом размышлял Пушкин болдинской осенью 1833 года, завершая «Медного всадника», «Историю Пугачева», «Пиковую даму», отыскивая заживо схороненную самобытность жизни.

Космические вихри выются над тетрадью 2373 и ее несохранившимися страницами, где, скорее всего, находились все черновики «Пиковой дамы»; трагические мотивы для поэта, может быть, самые мучительные, – и в соседней, 2374-й.

## 2. Два примечания

*«Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений Oleszkiewicz. Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было – Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта».*

Это 3-е примечание к «Медному всаднику» – после строк:

*Редет мгла ненастной ночи  
И бледный день уж настает...*

К стихам же

*На высоте уздой железной  
Россию поднял на дыбы, —*

следует примечание 5-е (и последнее):

*«Смотри описание памятника в Мицкевиче. Оно заимствовано из Рубана – как замечает сам Мицкевич».*

Всего несколько пушкинских строк, к тому же не главных, служебных.

Казалось бы, гениальная поэзия не требует прозаических комментариев, но гению виднее. Вспомним хотя бы тщательную отделку 44 примечаний к «Евгению Онегину» и 34 – к «Полтаве». К «Медному всаднику» их много меньше; но – приглядимся... Если прибегнуть к статистике, то получится, что в поясняющих строках, замыкающих «стиховое пространство» поэмы, – 60 процентов текста связано с Адамом Мицкевичем.

О том, что отношения двух гениев, русского и польского, были важнейшим событием в предыстории «Медного всадника», известно давно, написано немало... Но и сегодня, начав размышлять над несколькими строчками примечаний, можно, кажется, приблизиться к *«предметам сокровенным...»*.

### *«Полтава» и «Медный всадник»*

В десятках работ сравнивались две пушкинские поэмы о Петре, и все же не устаем удивляться... В обоих сочинениях, естественно, имеется ряд совпадений, созвучных мотивов; и в одном и в другом – высочайший уровень мастерства; однако если бы две поэмы вдруг пришли к далеким потомкам «анонимно» (как «Слово о полку Игореве»), то их, возможно, сочли бы творениями двух разных гениев. В 1828 году («Полтава») – апофеоз Петра, в 1833-м («Медный всадник») – столкновение трагических «за» и «против»...

Разумеется, «своя правда» (как всегда у Пушкина) есть у всех героев «Полтавы»; и в этой поэме личное, частное уже раздавлено, перемолото историческими жерновами, и несчастная дочь Кочубея сходит с ума; да и последние строки «Полтавы» внешне близки к будущему финалу «Медного всадника». В 1828-м – летучая память о страданиях и гибели Марии... В 1833-м – гибель Евгения – «похоронили ради бога». Но тем более отчетливо видна разница авторского взгляда. В «Медном всаднике» две правды, которые не поддаются закону сложения, вычитания: итога нет; в «Полтаве» же все-таки *общий итог* существует:

*В гражданстве северной державы,  
В ее воинственной судьбе,  
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,  
Огромный памятник себе...*

*Памятником* как главным положительным аргументом истории заканчивается «Полтава»; «Медный всадник» – с *памятника* только начинается.

Будто оспаривается, «взрывается» финал первой петровской поэмы.

Памятник *воздвигнут*... Но что же дальше? Пять лет всего разделяют две поэмы, но какие годы!

Посредине этого периода – 1830–1831: революции и восстания во Франции, Бельгии, Италии, Польше; нашествие холеры, бунты в Петербурге и военных поселениях...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.